

Павел Засодимский

Бедный Христос



Павел Владимирович Засодимский

Бедный Христос

http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=633245

Мореходы: Отчий дом; Москва; 2007

Аннотация

«...Таким манером Сорочиха поминутно, при каждом удобном случае, лезла Михайле в глаза, как осенняя муха. И Михайле стало казаться, что хорошо было бы, если бы он женился на своей соседке...»

Содержание

Павел Владимирович Засодимский Бедный Христос

Село наше Дедюхино стоит далеко от больших городов, среди необъятных зеленых степей. Оно совсем затерялось в этом привольном зеленом просторе. Вот, хоть вы, например, читатели, сидите в своих городах и ведать не ведаете про наше село; вы даже не знаете, есть ли на белом свете такое село Дедюхино. Да как же ему не быть! Я в нем родился, рос и вырос и прожил, почитай, всю свою жизнь.

И люблю же я, крепко люблю наше родное село. Мне кажется, что краше его нет ничего на свете...

Одно надо вам сказать – село довольно большое и тянется по обоим берегам речки Пинежки версты на две в длину, а насколько в ширину – право, сказать никак невозможно. Избы у нас не стоят по-людски, в ряд, а разметались, как шальные, без всякого порядка туда и сюда. То хата от хаты рукой подать, то хата от хаты чуть не на полверсты отскочила, а почему – Бог весть. Одни мазанки лепятся по самому берегу, другие взобрались на косогор и торчат там себе на юру, а иные в лощинку сползли и притаились за густым вишеньем, словно в прятки играючи, как будто кто-нибудь, шутки ради или второпях, рассовал их куда ни попало. Но все это вы-

ходит как-то хорошо, красиво; всякая хатка словно на своем законном месте стоит. Если бы вдруг переставили их, выстроили бы, как солдат на смотру, в одну прямую линию, поделили бы между ними правильные промежутки, тогда прости-прощай наше Дедюхино. Не стало бы села... И почему ж бы ему не разметаться по своей доброй волюшке? Ведь ничьей земли оно не заедает: степи кругом неоглядные, словно им и конца нет...

Речка Пинежка – маленькая, не ширококоньякая; только весной, в половодье, шумит она, бурлит и плещет свои мутные воды на берег так, что подумаешь, и в самом деле река. А летом не только люди – и вороны ее вброд переходят. Летом наша Пинежка совсем мелеет и – как поется в одной старой песне, – «покрывается вся тиной, скверной зеленью, со плесенью». Тогда воду мы пьем из колодцев. Колодцев у нас много, и вода в них чудесная – холодная, родниковая.

Дедюхино частенько погорает, особенно в летнюю пору, – погорает то от Божьей милости, то от людской, но больше от последней. Оттого-то оно чуть не каждый год отстраивается, оттого-то в нем испокон века стоят сгорбившись старые, кривобокие, жердями подпертые избышки, как старушки подслеповатые, опирающиеся на свои костыли, а неподалеку от них стоят прямехонько, гоголем, новые мазанки, блестя на солнце своими белыми стенами и желтыми соломенными крышами. Берег Пинежки местами густо порос ветла-

ми, сочной рослой кугой¹ и тростником. По селу вдоль плетней там и сям также зеленеют ветлы и на славу разрастается вишенья. Много у нас яблонь, пахучих акаций и лип душистых. В мае, когда все это благоухает и цветет белым и розовым цветом, – о! Да что же это за рай! Пчелкам раздолье у нас, и жужжат же они с утра до ночи. Но всего больше у нас растет подсолнухов. Величаво и высоко поднимают они кверху свои тяжелые желтые головки.

Только в одной стороне, на полночь, вдали на горизонте синее лес. А там, как уже сказано, куда ни глянь, все степь и степь – зимой вся белая и блестящая, словно алмазной пылью усыпана, а летом – вся в цветах, вся пестрая, как лучший персидский ковер.

Так, повторяю: я люблю нашу тихую, маленькую речку, люблю наше Дедюхино, люблю и нашу старую-престарую церковь. Ей будет уже лет триста, если не больше. Церковь темная, низенькая, с виду невзрачная, с высокой колокольной; кругом нее – погост с безвестными могилами, а вокруг погоста – деревянная ограда. На погосте купами там и сям и вдоль ограды, местами растут плакучие березы и ветлы... Теперь должно сказать, что в нашей церкви в стародавнее время было много разных статуй. Обычай ставить статуи в храмах перешел к нам, кажется, от наших прежних близких соседей поляков-католиков. Лет семьдесят тому назад вышел указ: убрать из церквей все статуи. Из нашей дедюхинской

¹ куга – трава осока

церкви также вынесли все статуи на чердак, и там, в разном хламе, среди старых паникадил, икон и разломанных сундуков, они так-таки затерялись и пропали. Только одна статуя – статуя Христа – сохранилась. Ее не унесли на чердак вместе с прочими, но поставили в каменной нише, нарочно для того сделанной в ограде. Кто это вздумал и для чего, теперь уже никому неизвестно. Эту статую Христа надо описать подробнее, потому что она станет играть важную роль в моей повести, что видно уже и по самому заглавию.

Это священное изображение, строго говоря, ничем особенно не замечательно и на первый раз в глаза не бьет. Фигура Христа (в аршин² вышины) сделана из дерева грубо, топорно и по дереву обмазана гипсовой мастикой. Христос стоит, опустив левую руку вниз, а правую прижав к груди. Голова Его с темными распущенными волосами, выдвинутая вперед, слегка понурена. Лицо совершенно бледное, без всякой краски; глаза большие, темные, и темные же брови; нос, как и всегда, прямой и тонкий, губы сжаты. В боку, между ребер, видна рана, и вытекшие из нее капли крови как будто застыли, запеклись на этом бледном теле. На первый взгляд всякому покажется, что фигура сделана аляповато, да оно, в сущности, так и есть. Но если всмотреться попристальнее в эту фигуру, отступя шаг назад, то она является в другом свете и заставит простоять перед собой лишнюю минуту. Доморощенный художник – бесхитростный и немудрый – су-

² аршин – 0,71 метра

мел как-то придать бледному лику Христа такое страдающее, скорбное выражение, какое, право, редко можно встретить и на самых хороших картинах. Налево от Христа стоит фигура воина (вышиной в 3/4 аршина), сделанная так же грубо и из того же простого материала, как и статуя Христа. На воине намалеваны желтые латы, а ниже их какое-то зеленое одеяние вроде короткой юбки; на ногах высокие сандалии. Голова у этого воина большая, угловатая, с черными курчавыми волосами; лицо красное и свирепое. В руке у воина копье.

Я знаю, есть изображения Христа очень блестящие и дорогие, стоящие сотни и тысячи рублей. Эти изображения стоят в великолепных храмах, сияющих серебром, золотом и драгоценными камнями. Наш Христос – бедный, убогий Христос, как бедна и убога наша сторона... Подножие у статуи алебастровое. Ниша, где стоит она, складена из кирпича и плохо выбелена. Но дедюхинцы любят свою статую. Исстари ведется обычай класть в нишу, в виде приношения, то ломтик хлеба, то грошик, то яйцо. На фигуру Христа повязан кусок дешевенького ситца – самое незатейливое одеяние. Христос был изображен почти вовсе без одежды и долго стоял Он так. А кто первым прикрыл Его и по какому случаю, о том я и расскажу теперь одно старинное предание.



Давно, очень давно, лет шестьдесят тому назад, а может быть и более, жил у нас в селе добрый, смиренный и работающий мужик по имени Михайло Колобяк. Складно и ладно жилось ему с молодой женой, красавицей Настасьюшкой. Михайло, как человек не великого ума, с неба звезд не хватавший, без совета жены шагу не ступал. И это не к худу, потому что Настасья была баба неглупая, ловкая, на все руки, и всякую сметку отлично знала. Она никогда не злоупотребляла своим старшинством, превосходством над мужем.

Михайло делал все не торопясь, мешкотно³, но зато прочно и крепко: под его работу и комар носа не подточил бы. У Насти же все так и кипело в руках, всякий труд у нее спорился, и в конце концов оказывалось, что ее дело выгорало не хуже мужнина. Вовремя у них поле вспахано, вовремя посеяно, выполото, вовремя все скошено, в скирды сложено и смолочено. На огород посмотришь – глаза разбегаются: всякий-то в нем овощ растет. Грядки вскопаны как следует, а между грядками мак пестреет, желтеют подсолнухи. Весь плетень густо оброс белой акацией. Пахнет сиренью, дикой мятой, всякими цветочками – славно, чудесно пахнет.

На хатку поглядеть – сердце радуется. Оконца чистенькие,

³ мешкотно – неповоротливо

стены выбелены, желтая солома на крыше золотом отлиывает на солнце, и подстрижена она так чистенько и гладко, как волосы у иного мальчугана накануне большого праздника! И старые-престарые ветлы, скрипя и шушукая, зеленой тенью красиво склоняются над этой стрехой⁴. Зимой или летом, в солнечный ли день, в сизые ли сумерки, или в ясную месячную ночь, – всегда, во всякую пору любо поглядеть на Михайлову избу.

У Колобьяка была только одна дочка, и эта дочка вся уродилась в мать: такая же здоровая, крепкая, смуглолицая, с большими темными глазками. Ее тонкие брови словно тушью нарисованы; волосы черные и мягкие, как шелк.

Михайло с Настей крепко любили свое единственное милое детище, берегли его пуше глаза и холили всячески. За обедом мать норовит дать Гальке кусок получше, послаще. В праздник выражает она свою дочку в красный кумачный сарафан и роговым гребнем старательно, легонько расчесывает ее шелковистые волосоньки, и гладит она эту маленькую, миленькую головку, и ласкает, и целует ее. Михайло в досужие минуты садит Гальку себе на колени, играет с ней и качает ее на ноге. А Настя той порой сидит за прялкой или бойко управляется с иглой. Михайло, мужик степенный, серьезный, даже почасту хмурый, в эти минуты начинает смотреть весело, и под его густыми, нависшими усами играет блаженная улыбка. Своею грубой, мозолистой рукой он обни-

⁴ стреха – соломенная крыша

мает Галю, слегка щекочет ее; темной, загорелой щекой он прижимается к нежной пухлой щечке ее и вдруг начинает запевать какую-нибудь песенку вроде того, что «вырастешь большая – будешь в золоте ходить, чисто серебро носить...» Михайло желает для своей дочки такой участи, хотя и не надеется на нее. Где же у них, в мужицкой хате, злата-серебра достанешь? Благо, хоть бы в рогоже⁵ не ходила... То примется он сказки рассказывать про скрипучую «липовую ногу» да про Ивана-царевича. Галька, широко раскрыв свои темные глазки и припав к отцу на грудь, внимательно слушает, не шелохнется. Так, бывало, и заснет на руках у отца. Но редко выпадали такие минуты.

Колобьяк не сидел без дела дома: летом он – в поле, в степи; зимой – в лесу, а иногда перед Рождеством уходил в Москву с обозом, отвозя туда на продажу купеческую, то есть свиную щетину и сало. Из Москвы он всегда привозил жене в подарок или ситца французского на сарафан, или бусы, или ленту алую: Гальке дарил сладких пряников, а однажды привез белую куколку, такую крепкую, что ее нельзя было и раздавить... Привольно, хорошо жилось Гальке под крылышком матери, на отцовских ласках, да вдруг беда большая стряслась над Михайловой семьей.

Настя с чего-то захворала, заболела и скорехонько померла. Михайло очнуться не успел, как вдруг очутился вдовцом. Галине тогда уже минуло восемь лет. Горько плакала она,

⁵ рогожа – ткань, плетенная из мочал

смотря на мать, когда та в своем венчалном сарафане лежала в простом деревянном гробу, сложив на груди свои работающие руки. Эти бледные руки уже не поглядят ее по голове, эти холодные губы не поцелуют ее, эти большие добрые глаза, теперь закрытые, уже не подарят ее взглядом ласковым.

Долго Галина не брала игрушек в руки – все тосковала по своей родной. Но понемногу горе стало забываться, и Галя стала привыкать к своему сиротству-одинокости. Начала она приглядывать за хаткой; бывало, пол выметет и печь кое-как затопит, с грехом пополам. А в досужее время, без отца, присядет к окошечку и, вооружившись мотком ниток и большой иглой, примется чинить свою или отцовскую одежду. Нельзя, конечно, сказать, чтобы маленькие стежки клала она на заплаты, чтобы аккуратно и прочно было ее шитье. Но что ж делать! Чем богаты, тем и рады.

Мирно и тихо, с маленькими радостями и без большого горя, пошла жизнь в Михайловой хате. По вечерам, при лунчине, Галька сидела с отцом вдвоем и слушала иногда его сказочки и бывальщины.

И вдруг опять на них напасть обрушилась. Уж подлинно – одна беда не ходит, за собой другую водит. Так, по крайней мере, вышло на этот раз.

Неподалеку от Михайловой избы – через огород – стояла одна понурая избушка. И зачем только она стояла тут? Много горя натерпелась, много слез пролила Галька оттого, что эта кривая избушка стояла так близко от их хаты. В той

избушке жила Авдотья, вдова, по прозвищу Сорочиха, баба упрямая, хитрая и порой даже злая. Задумала эта Сорочиха недоброе дело.

– Дай, соседушка, почию я сарафан-то твоей доченьке, да и тебе кстати, заодно, рубахи вымою! – сказала однажды Сорочиха, будто жалеючи Михайла. – Ведь ваше дело одинокое, сиротское. Никто, вишь, за вами не присмотрит...

И пошла, и пошла тянуть песенку на один и тот же лад. Лукавая баба... В другой раз увела она к себе Гальку, накормила ее пышками и целый передник насыпала ей подсолнечных семечек. Галька, как девочка добрая, ласковая, Сорочихе за все, конечно, говорила «спасибо»; но не нравились ей Сорочихины серые глазки, маленькие, острые, поминутно бегающие из стороны в сторону, словно запуганные мыши... Раз даже Сорочиха, когда Михайлы не случилось дома, забралась к нему в хатку и, подтыкав себе подол, принялась преусердно скрести лавки и мыть стены и пол.

– Дай ей Бог здоровья! Добрая душа, право! – сказал по возвращении Михайло, узнав о подвиге Сорочихи.

Таким манером Сорочиха поминутно, при каждом удобном случае, лезла Михайле в глаза, как осенняя муха. И Михайле стало казаться, что хорошо было бы, если бы он женился на своей соседке. «И для меня-то сподручно, и для Гальки ладно! Худо девке расти без матери...» – так уже много раз мыслил про себя Михайло. Не то чтобы он не любил свою красавицу-Настю или забыл бы ее – нет! Он не полюбит так

Сорочиху и никогда не забыть ему первой жены. Ему просто нужна была в доме работница, помощница, которая за всем присмотрела бы, накормила бы и обшила их с Галькой. Нанимать казачиху, значит – кормить-поить ее надо, надо жалование платить, а у Михайлы Колобьяка лишних денег еще отроду не водилось. (Да я и не знаю, у кого из дедюхинцев, кроме старшины, водились они.) В крестьянской жизни часто случается, что жену берут в дом только как работницу. Призадумался Колобьяк не на шутку...

Однажды вечерком сидел он на завалинке у Сорочихиной хаты и покуривал трубку. За последнее время он частенько сиживал тут. Галина той порой с ребятишками бегала по улице, не чуя, что решалась ее участь. Осенний вечерок выпал ведряный, красный. Задумчиво смотрел Колобьяк на заходившее солнце...

– Знаешь что? – вдруг заговорил он, обращаясь к Сорочихе. – Ты – без мужа, я – без жены. Отдавай свою хатку в наем, а сама перебирайся ко мне в хозяйки! Будем вместе век вековать.

Сорочиха будто бы растерялась от неожиданности и рот разинула, а на самом-то деле просто обрадовалась.

– А соседи-то, Михайло, что скажут? Вот скажут... – затянула Сорочиха.

– Что такое скажут? А ну их! – успокаивал ее Колобьяк.

– Сам, поди, знаешь: как дети-то с мачехой обращаются... – с горьким вздохом промолвила Сорочиха. – Про ма-

чеху и в старых песнях-то все неладно поется.

А Михайло стал пуще уговаривать ее.

Наконец Сорочиха расплакалась и ушла к себе в хату. На другой день они ударили по рукам, а через месяц и свадебку сыграли.

– Галя! Вот тебе мамка! – весело сказал дочери Михайло, возвратившись от венчанья.

– Нет, тятя! – тихим, грустным, нерешительным тоном промолвила девочка. – Нет у меня мамы! Маму землей засыпали и красный крест ей на могилке поставили... А это не мамка, это – Сорочиха.

– Глупа еще! – как бы извиняясь за дочь, пробормотал с недовольством Михайло и нахмурился.

Не вспомнилась ли ему его первая свадьба, его покойная жена? Он еще пуще нахмурился бы, если б кто-нибудь шепнул ему, что худо быть Гальке сиротой, но жить с недоброй мачехой – того хуже...

Впрочем, первые три-четыре месяца дело еще шло ни шатко ни валко. А затем Сорочиха понемногу стала показывать себя и отцу и дочери в настоящем свете. У добрых людей, глядишь, уже и печь истоплена, бабы делом занимаются, а наша Сорочиха еще спит, а если не спит, то лежит да потягивается. Встанет, наконец, поднимется, с охами да вздохами затопит кое-как печку, а сама уйдет на улицу и по целым часам с кумушками стрекочет – «тары-бары да красные товары...» Оттого-то щи у нее вечно уплывают, хлеб сгора-

ет в уголь, все-то у нее недосол или пересол. А ей и горюшка мало. Ей только бы из избы увернуться, – гуляет себе да песенки распевает. В избе до самого вечера ничего не прибрано, а вечером уже не для чего убирать. Заворчит, бывало, Колобьяк на жену, а та ему сто слов в ответ.

– Не разорваться мне на вас – на двоих! Сидите и так! – крикнет, бывало, Сорочиха, так, что оконница задрезежит.

Так и пошло Михайлово хозяйство через пень, через колоду, ни складу ни ладу. Тут оказалось, что Колобьяк жестоко ошибся, понадеявшись на свою тороватую⁶ соседку. Он хотел ее сделать работницей, помощницей своей, а она в то же время рассчитывала закабалить его себе в батраки; вдовья жизнь ей пришлась не по сердцу. Михайло, как человек уступчивый, с характером слабым и мягким, что твой воск, – лепи из него что хочешь, – с Сорочихой сладить не мог. То была женщина упрямая, с железным характером и поставила на своем. Свое дело она справляла кое-как, спустя рукава, а его заставляла работать на себя чуть не через силу. Муж, бывало, скажет: «Стрижено», жена ему в ответ: «Нет, бри-то!» Муж скажет: «Не трясись», жена же кричит: «А вот потрясусь!» Такова была Сорочиха...

Хорошо жилось Михайле при доброй, работающей Насте: та не злоупотребляла его смиренством. А теперь ему солоно пришлось. Чуть ли еще не солонее доставалось Гальке от мачехи. Галя уже не однажды плакала украдкой. За обедом

⁶ тороватая – бойкая, ловкая

кусоч послаще Сорочиха себе берет, а Гальке объедки оставляет. Она поминутно шпыняет девочку – то Галя нехорошо сделала, то неладно сказала. Дошло, наконец, дело до того, что Сорочиха уже не раз своими костлявыми руками драла Гальку за ее прекрасные, шелковистые волосы, не раз била ее чем попало и как попало. Прежде, бывало, Галя выйдет гулять на улицу, так просто загляденье: головка причесана, сарафан чистенький, на ногах чоботки новенькие. А теперь сарафан на ней – старенький, оборванный; сама Галя ушить его толком не может, а мачеха не притронется. Галя частенько ходит босая, нечесаная. Сама она еще не в силах хорошо причесаться, а идти к мачехе боится: та половину волос гребнем выдерет, а ежели Галя заплачет, то ей же еще подзатыльник попадет, и крикнет по-своему, грубо: «Пошла, откуда пришла! Дрянь!..» У мачехи все платки цветные, новые кумачные сарафаны, щегольские сапожки с красно-желтыми отворотами – у Гальки же последняя рубашонка с плеч валится. А Колобьяк или не замечал этого, или делал вид, что не замечает, – уж право, не знаю...

Вот таким-то образом, худо, невесело, шли дела до того самого вечера, историю которого я хочу теперь рассказать.

* * *

На дворе стояла глухая, хмурая осень. Последние листья с деревьев слетели. Желтая, блеклая трава стлалась по степи,

и обнаженный кустарник печально пригибался к земле под напором холодного ветра. То моросил дождь, то снег принимался идти...

Вышло как-то так, что Михайло на два дня уехал в лес рубить дрова и хотел заночевать там же, в шалаше у Фомки-лесника. (В ту далекую пору в нашей стороне залегали дремучие леса, не так, как теперь.) Гальке без отца всегда бывало хуже, на этот раз пришлось и совсем плохо – хоть плачь! Мачеха с утра же закатилась в гости. Печь оставалась нетоплена: хата находилась. Галька вся иззябла и пошла погреться к одной соседке-старухе. Та сжалилась над девочкой, глядя на ее унылое, осунувшееся личико.

– Не хочешь ли есть? – спросила ее старушка.

– Хочу, бабуся! – промолвила Галя и смутилась: ей, точно нищенке, подают Христа ради.

Старушка отрезала ей ломоть хлеба и подала чашку кислого молока. Галька с жадностью поела все.

– Вот то-то, дитяtko, без матери-то! Худое это дело... – сказала старушка, вздохнув.

«Что бы сказала мама, если бы увидела меня теперь, увидела бы житье наше?» – подумалось Гальке, и таково-то ей вдруг горько стало – чуть она не расплакалась. Губы у нее задрожали, и слезы подступили к горлу. Она сказала старухе: «Спасибо» и поскорее ушла домой... Вечером Сорочиха навела к себе гостей, и поднялся дым коромыслом. Пошла игра на гармонике, на балалайке, песни, пляски, гам, – хоть

уши затыкай! Сама Сорочиха визжала пуще всех и отплясывала так, что половицы потрескивали. Галька, лежа на печке, невесело поглядывала на эту пляску.

На другой день мачеха опять скрылась с утра. Гальке показалось совестно опять идти к старухе – как будто попрошайничать. Она весь день просидела дома голодом. Угрозило ее найти в столе завалившийся за солонку кусок черствого хлеба. Она съела его с жадностью, но голод тем не утолила, только еще пуще разожгла. Выпила два ковша воды; ей стало тошно, тяжело. Легла Галька спать, но и уснуть не могла. Как только закроет глаза, так ей и начинает мерещиться, что мимо рта ее все кто-то проносит кусок вкусного, теплого пирога с изюмом...

Сорочиха возвратилась домой уже поздно ночью. Она была навеселе, и сильно припахивало от нее спиртным. Лицо ее покраснелось, волосы порастрепались, шлык сбился на сторону.

– А-ха-ха! Ха-ха-ха! – расхохоталась она, стоя посреди избы и бессвязно рассуждая о чем-то сама с собой.

Наконец повалилась на лавку и стала укладываться спать, а сама все что-то ворчала себе под нос. В таком диком виде Галька еще ни разу не видала ее. Она боялась приступить к мачехе, но не выдержала: ведь голод-то не тетка.

– Есть мне охота! – вполголоса промолвила она.

– Только бы тебе жрать! Лежи, добро... Ночью что тут за разносолы! – шипела Сорочиха.

– Мне бы хоть хлебца! Мне тошно... – робко продолжала девочка.

– Сказано – спи! До утра-то не околеешь, небось! – про- бурчала мачеха.

Тут уж Галька не выдержала и заплакала.

– Мама, милая!.. Тятя, голубчик... – как в бреду бормота- ла она, уткнувшись лицом в подушку и тяжело всхлипывая.

Она, конечно, мамой звала не эту злую пьяную бабу, а свою настоящую, родную маму, которую уже давно унесли на погост. Сорочиха это поняла и обозлилась.

– Что-о-о? Отцу на меня жаловаться! А-а-а! Так я ж тебе покажу... – зарычала мачеха, поднимаясь с лавки.

Пошатываясь, подошла она к Гальке, ухватила ее изо всей мочи своими жилистыми руками за плечо и потащила вон из избы.

– Убирайся! Пошла! У-у! Проклятое отродье... Змее- ныш! – крикнула она с яростью, когда Галя застонала от бо- ли.

Сорочиха протащила ее через сенцы и, вытолкнув на крыльцо, захлопнула за ней дверь и заперла на защелку. И Галька, в одном драном, легоньком сарафанишке, с го- ловой, покрытой лишь распущенными волосами, и совсем босая, очутилась на улице одна-одинехонька... Темная осен- няя ночь стояла над деревней. Холодный, порывистый ветер дул ей в лицо.

Галька робко оглянулась по сторонам, посмотрела вверх,

посмотрела вниз. Над головой у нее, как страшные сказочные призраки, неслись по небу черные облака, то сбиваясь в одну кучу, то разрываясь лохмотьями. Бледный месяц светил порой из-за облаков. Мрачно было над головой Гальки. На земле тоже – не веселее... Грязь на улице слегка подстыла. Кое-где вдоль плетней и заборов белел снег. Ветлы своими голыми ветвями шумели глухо, жалобно. В избах огни были погашены... Галька спустилась с крылечка и еще раз оглянулась на свою хату. Авось, мачеха смилуется, придет в себя, воротит ее. Не тут-то было! Как собачонку, вышвырнули ее из родного, отцовского дома!

Вздрагивая и ежась от холода в своем жалком сарафанишке, Галька пошла по улице. Стучаться под окнами она боялась. Ее станут окликать, станут расспрашивать, за что ее мачеха прогнала. Ей было послышалось, что во дворе одной хатки как будто стукнули ворота. «Значит, еще не спят. Попытаюсь!» – подумала она и, подойдя к хатке, заглянула в оконце. Темно в хате – ни звука. Легонько постучала Галька в стекло. Ни ответа, ни приветия... Постучать громче она не решалась и пошла далее. Под окном приветливой старухи она постучалась довольно сильно, но бабуся, видно, крепко спала – не откликнулась... А ветер той порой с неистовым воем проносился над деревней, над соломенными стрехами, над деревьями, над головой бедной Гальки. Она решительно не знала, что ей делать, куда идти. Холод знобил ее, но еще пуще мучил голод.

В стороне, через лужайку, в ночном сумраке белела церковь смутно, неясно, как привидение. К ней пошла Галька и скоро очутилась у церковной ограды, перед той нишей, откуда жалостливо смотрел бледный лик Христа. Ниша теперь оставалась погруженной в тень. Но девочка скоро рассмотрела, что у подножия статуи лежали три яйца, два медных грошика и ломоть хлеба. Уж не ради ли этого хлеба и направила она сюда свои шаги? Очень может быть, что, не отдавая себе ясного отчета, шла она сюда, помня, что у Христа иногда лежат куски хлеба и другие приношения. Ведь не раз у этой самой ниши прежде она игрывала со своими подругами.

Эта статуя, это бледное лицо, этот свирепый большеголовый воин с копьем – ей уже давно знакомы. Галька прислонилась к нише и прижалась головой к холодной кирпичной стене. Глаза ее не могли оторваться от хлеба. Брать или не брать? Может ли она взять этот кусок, принесенный Христу? Будет ли грех, если она съест этот хлеб? Гальке сделалось страшно... Она уже наслушалась по деревне от взрослых, что Бог грозен и грешников убивает камнями.

Но в ту же самую минуту припомнились ей рассказы про Христа. Одна девочка, немного постарше Гальки годами, учившаяся в школе, не однажды передавала эти рассказы своим маленьким подружкам и очень, конечно, гордилась при этом своим знанием таких прекрасных, неслыханных историй. Учитель в школе им сказывал, что Христос очень милостив, что, будучи на земле, Он кормил голодных, ле-

чил больных, утешал несчастных, что Он знался с такими людьми, которых никто не любил, прощал самых великих грешников, а в особенности любил детей и всегда говорил, чтобы не мешали детям приходить к Нему... Это воспоминание ободрило Гальку и сделало ее смелее.

«Я теперь голодна, я другой день не ела... Он накормил бы меня, если бы был теперь жив... – невольно подумала Галька, пристально смотря в лицо Христу. – Значит, если я возьму у Него хлебушка, Он не поставит это во грех, не убьет меня камешком?!»

– Дай, Господи! – жалобным шепотом промолвила Галька, робко протягивая ручонку к куску хлеба и в оба смотря на статую.

Темные тучи, быстро несшиеся по небу, на ту пору вдруг разорвались и полный месяц бледным светом своим обдал всю статую с ног до головы. «Бедный Христос! Как жалко Он смотрит!..» – мелькнуло у Гальки в голове. Девочка, наконец, взяла кусок и потянула его к себе. Потом тут же, у ниши, опустившись наземь, она принялась есть. Крупные слезы капались у нее по щекам и капали на кусок черного черствого хлеба, который держала она в своих дрожащих руках.

Наевшись, она с великой, немой благодарностью посмотрела на Христа, на лицо Его с живым выражением муки, на Его окровавленную, израненную грудь. Ей стало очень жаль Его. И долго так смотрела она на Христа... А холод той порой знобил ее, и ночной ветер пронизывал ее насквозь. К

утру воздух пуше посвежел.

Не боясь ни могил, ни мертвецов, Галя пошла на погост. Здесь она нередко игрывала с ребятами. Отыскала она знакомую могилу, присела около нее наземь и крепко припала головой к сырой, холодной земле.

– Мама! Милая мама! Никто без тебя не покормит меня, никто не заступится... – прошептала Галька и вдруг остановилась.

Ей вспомнилось бледное лицо, смотревшее на нее из ниши. Она понемногу успокоилась и по-детски крепко заснула, словно не на могиле, под холодным ночным ветром, а в теплой постели, под теплым родным кровом...

Ветер к утру разогнал облака, небо прояснилось. Заря ярко загорелась на востоке. А Галька спала. Снилось ей, что отец по-прежнему, по-старому держит ее на коленях, рассказывает ей сказки и песенки поет; мать за прялкой сидит и весело смотрит на них. И однообразно жужжит ее веретено...

Вдруг Галина проснулась. Красноватые лучи восходящего солнца уже играли на зеленой церковной крыше и на ее блестящем кресте. Яркий луч ударил в глаза Гальке. С удивлением осмотрелась она по сторонам и не сразу смогла опомниться, где она и как сюда попала. Перед ней стоял церковный сторож Михеич, седой старик в высокой меховой шапке. Он побрякивал своими заржавленными ключами и внимательно смотрел на нее.

– Ты что тут, Галя, делаешь, а? – спросил он ее.

– Да я так... спала... – бессвязно пробормотала девочка и принялась тереть себе кулаком глаза.

– Нашла место спать! Нечего сказать... Ступай скорей домой! Чего тут... Охо-хо! – прошамкал старик. – Вишь, заблудилась вся, посинела даже... Беги, добро... А то простудишься, умрешь, в могилу зареют. Беги!

Старик еще раз поглядел на нее жалостливо и побрел на колокольню.

Как бы в благодарность за съеденный кусок хлеба Галька твердо решила – во что бы то ни стало – одеть статую Христа (Христос, как уже сказано, по воле художника был изображен почти без одежды, быть может, с целью сильнее разжалобить простой люд). Девочка все живо, все близко принимала к сердцу. Ей казалось, что и деревья и кустарники зимой дрожат от холода так же, как и она сама дрожит; так же – выходило по ее догадкам – должно быть холодно и бедному Христу.

На другой же день она отырла где-то в чулане кусок простого, грубого холста и отрезала от него порядочный лоскут. На одном краю этого лоскута она прикрепил веревочку, и с таким скудным, грубым одеянием под вечер Галя явилась к нише и на этот раз уже безбоязненно облекла статую Христа в серую толстую холстину. «Вот так и ладно! Все же Ему будет лучше...» – подумала она, с довольным видом любуясь на дело рук своих.

Все на Дедюхине диву дались, когда пронесся слух, что

кто-то неизвестный одел Христа. Все – стар и мал – приходили к нише, трогали холстину, разглядывали веревочку и все-таки ничего не узнали. Много из-за этого было толков, судов и пересудов у нас на селе.

* * *

Лет через пять после того вечера, который я только что описал, Сорочиха умерла – от вина «сгорела», как говорили на деревне. Михайло Колобжак в покое и мире прожил последние дни, добром вспоминая свое житье с первой женой и стараясь реже вспоминать Сорочиху. Галька в свое время вышла замуж, жила неподалеку от отца и почти каждый день навещала к нему. Старику даже привелось понянчиться с внучатами.

Галька же не могла всю жизнь забыть той непогожей осенней ночи, которую провела она на могиле матери; не могла позабыть того куска хлеба, что нашла она в ту ночь у подножия статуи Христа. И от поры до времени носила в нишу то яйцо, то ломоть хлеба, то грошик...

Умер Михайло, умерла и Галька, умер и муж ее.

А Христос по-прежнему неизменно стоит в нише, и бледный лик Его жалостливо глядит оттуда на мир. Ниша пообвалилась. Зимние снега и осенние дожди смыли с нее белую краску. Красные кирпичи все вышли наружу. У воина одна рука отвалилась и лежала на дне ниши. Христос по-прежнему

му одет то в красный кумач, то в простой серый холст. И ныне у подножия статуи можно часто видеть хлеб, яйца и медные гроши. Все это время от времени является и пропадает.

Куда пропадает? – Про то в нашей стороне знают только одни голодные нищие да убогие странники...